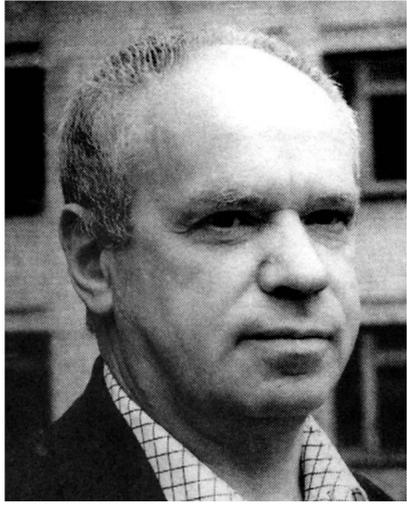


ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ ИВАНА РЫЖОВА



Беседы в тёплый вечер

И кого нам любить, как не Рыжова? И кому кланяться? Когда в доверительном разговоре он кладёт ладонь себе на затылок (то его, только его жест), это значит, что переполняет Рыжова безмолвный восторг, удивление перед чьей-то ласковой строкой.

Как он умеет восхищаться! Как нежно он говорит об акварельном слове Игоря Лободина... Или о словесной акварели Юрия Казакова — о плавных росписях чувств, тихих и неумирающих, уверенно проросших в вечность, струящихся глубоким запахом истины.

По Казакову и Бунину Иван Рыжов различает родные души — так по затеплившимся огням озябший мореход различает родные корабли в

плотном безжизненном тумане. Маячок бунинской строки, невзначай возжжённый собеседником, мгновенно притягивает Рыжова; он распахивает объятия и сердце и не может насытиться речью.

Но редки такие сладкие беседы, потому что родных душ всегда мало, даже среди литераторов — единицы; потому они и родные.

Ну и что, что ты писатель, — писатель зачастую зело воночий зверь.

Иной виртуозно плачет о судьбах мира, однако никогда не забудет истребовать рублишко за эту свою плачу.

И пафос рифмы, и громкость завываний у этого профессионального плакальщика расписаны по тарифу; о чём с таким говорить Рыжову?

О чём Иван Алексеевич будет толковать и с тем, кто на всех местных парадах норовит облобызывать всех местных министров? Рыжов вообще человек непарадный.

Он и в ранние годы не очень-то публично ораторил — только когда собственный официальный чин заставлял.

А когда сбросил Рыжов с себя все чины — сбросил облегчённо, как

смешные соломенные доспехи, — так вовсе перестал говорить с подмоштов.

Писатель не должен быть лицедемом; и трибуном ему быть не пристало. И в лицо писателя знать не надо: знайте его строку, она одна — его лицо и доспех.

А строка у Рыжова прочна и честна, бескорыстна и несуетна; красота её светла, как тёплый вечер; лучит она покой и доброту; и смотреть в неё хочется, будто в глаза отцовские.

И как снова и снова не поклониться благодарно, как не прильнуть к согбенному старому другу?

Юрий ОНОПРИЕНКО.
2004 год.

Ирина СЕМЁНОВА

Ивану Рыжову

*Нашей жизни
грустную мозаику
Разглядят потонки,
может быть.*

*Трудно страсть
испытывать к прозаику,
Но его возможно полюбить.*

*Если вдруг теория не лучшая
Несколько вас
будет раздражать,*

*Нужно только,
рассужденья слушая,
Вертикально
голову держать.*

*Это мысли
древо первозданное
Наклоняет к вашему виску,*

*Существо доверчивое,
странное,
Как медведь коала на суку.*

Андрей ФРОЛОВ

Посвящение И.А. Рыжову

*В деревне
Коровье Болото
Совсем не осталось
коров,
Да и от деревни
все-то —
Двенадцать замшелых
дворов.*

*Воюет старик-долгожитель
С колодезным журавлем:
— Помрем-то когда же,
скажите?
Ведь все же когда-то
помрем...
Горбятся крыши
косые,
Хребтами белеют плетни...
Храни, Вседержитель,
Россию!
И эту деревню храни.*

Виктор
ДРОННИКОВ

Однажды поехали во Мценский район. Выступали на заводах, в колхозах, попали нечаянно в дом престарелых. Посмотрели, поговорили, заплакали... И родились эти строки. В. Д.

Ивану Рыжову

*Дом престарелых.
Глухая тоска.
Пахнет оттопленным воском.
И полусонный
полет мотылька
К свежееоструганным
доскам.*

*Скитская нежить
бревенчатых стен.
Блеклой листвою
источаем —
Тонкий, осенний,
таинственный тлен,
В сущности, сам
беспечален.*

*Кладбище, видимо,
невдалеке...
Там, где цвели матиолы, —
Улей без крышки и на летке
Сохлые мертвые пчелы.*



Иван РЫЖОВ

Краткие рассказы

РАДОСТНО

Раннее утро. Росные травы блестя, переливаются катышками серебряных капель...

Тишина и нарождающийся блеск солнца. Уходит, тает молочный седой туман. Солнце набирает силу, и воздух начинает лакомо дрожать, переливаться, легкое марево волнами ходит над сизой пахотой широкого поля; приближается, удаляется темный, на глазах светлеющий лес, слегка рябит, морщится блестящая гладь пруда, вода в нем темно-зеленая, бутылочная, крутые берега его точно опоясаны зеленым смушковым воротником из плакучих ракут. И, весело гудя, тонко звеня, деловито перелетая с цветка на цветок, работают шмели, пчелы. Трава еще жидко дымится понизу, но уже сухо, жарко вокруг. Стекловидные стрекоты то замирают, то вдруг взмывают, ныряют к самому низу пруда.

Плинные желтые берега его жарко горят, четко отражаются в глубине бездонного неба, и там как в зеркале видно все: корявые и стройные деревья, зеленый берег, стая летящих галок, короткие тени бегущих облаков и я...

Вдали, у узкого устья, изумрудно светится, лениво покачивается острая кинжальная осока. И там орут, волнами перекатывается курлыканье, томный крик лягушек, крик радостно-печальный, первобытный, почти понятный... И светится, ищет свое заветное место пегая, светлая, с длинным прыгающим хвостом трысогузка. Сижу, смотрю и не насмотрюсь. Радостно!..

ПОБЕДИТЕЛИ

22 июня — День памяти и скорби. Пасмурный день. Идет и идет, моросит теплый дождик. Наверное, Бог вмешался и послал людям слезы. Слезы по убийствам, невозвратившимся, вдовам, так и не дождавшимся своих мужей, сыновьям и дочерям, не увидевшим своих отцов. Ах, как горько и печально...

И читаю обращения в этот день высших властей: «Люди, на долю которых выпало столько страданий и горя, выступавшие в небывалых испытаниях, навечно покрыли себя неувядаемой славой, стали образцом для подражания. Это наши духовные, нравственные корни, идущие из глубины людской».

А рядом сосед: уже дряхлый, седой как лунь, в старом столетнем пиджаке, затрепанных штанах и ботинках, но фронтоник — в этот день надевает залежалый костюм, а на нем ордена, медали, выпивает рюмку водки и гордо говорит: — Сражались, победили...

Дом у него на окраине древний, деревянный. Текут потолки, разохлись сени: тазы, ведра в дождливую погоду стоят возле каждой щели. Пенсия мала — не отремонтировать.

Окраина. Сумерки. На западной стороне чистого василькового неба играет закат: то возносится легкие золотистые столпы, то вдруг разольется малиновая синева, окрашивая вокруг в тона нежные, немислимые...

Он сидит на скамеечке возле дома со своей женой, уже тоже глубокой старухой, молчит, о чем-то думает. Молчит и она.

Ах, какие русские старики терпеливые, гордые, славные...

СТИХИ

Когда-то, в какой-то деревне... Жил-был я. Пришла она, небольшая, седая, но глаза молодые, яркие. Спросила: «Можно?» Ответил: «Да». Уселась, вытерла платком глаза, оглянулась. А комнатка, в которой жил, была узкой, тесной, но с божицей: лик Божьей Матери смотрел на нас. Перекрестилась, помолчала, потом вдруг:

*Никому я не сказала,
Что муж пьяный у дуги,
Сердце я себе скрепила
И на выручку иду.
Никому я не сказала,
А на сердце все держала...
Оторопел. А она монотонно голосила:
Что муж пьяный целый день,
А жена, что колесо.
Облетела она все
И на месте не была,*

К дому трактор подвела.
«Конечно, подвела, — подумал я. — Истинная, настоящая...»

А она опять вдруг поднялась, молча вышла.

Зачем пришла? Что хотела сказать?..

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Пасха. Христово Воскресение. День светлый, осиянный, золотистый луч солнца падает на кладбищенские ограды, деревья, церковь, истонно орут угольные грачи; голая, сонная пока земля, черные, точно сигары, деревья — и всё жизнь, всё дивно.

Сырой северный ветер, липкая серая грязь, легкие барашковые облака, синелиловое высокое небо — весна, весна...

И бесконечный поток людей на кладбище. Лица строгие, скорбные, улыбочивые — разные. Слышу — и не слышу. То же иду. Там у меня отец, родной брат.

Крошение яиц, хлеба, рюмка вина среди могильных оград. Как и у всех. И отдельно, и со всеми вместе, шемит и шемит, саднит сердце. Какая-то мысль все точит, не дает покоя, а взгляд скользит и скользит; первая рюмка в горовании, вторая за упокой. И уже веселый говор, споры... Орут дурные грачи, орут и вокруг. Зачем? Почему?

Заповедное место, где покоятся близкие. И вдруг высокий пергаментный голос: — Для милого дружка и сережку из ушка...

Оглядываюсь и не верю: за низкой кладбищенской стеной пляшут — молодые, нарядные, пьяные.

«Господи! — молюсь я. — Прости нас, грешных. До чего дожили...» Мысли как то путаются, черная тоска наваливается на меня, и я говорю старенькой матери: — Помянули, посидели, пойдём...

Мать, понимая: — Не гневись, сынок, Бог все видит...



Семья Рыжовых: Алексей Данилович и Анна Яковлевна с сыном Иваном. Коровье Болото. 1946 г.

ЦАРЕВИЧ

Ходил — приходил — ушел. Ушел от разговоров, пьяного дыма — на крутой берег речки. Сел, задумался, заплакал. Птичка бегаёт: трысогузка; утки плывут, собака лает, и я, такой одинокий. Вчера встречались, говорили, клылись. А сегодня все врозь. Обидела.

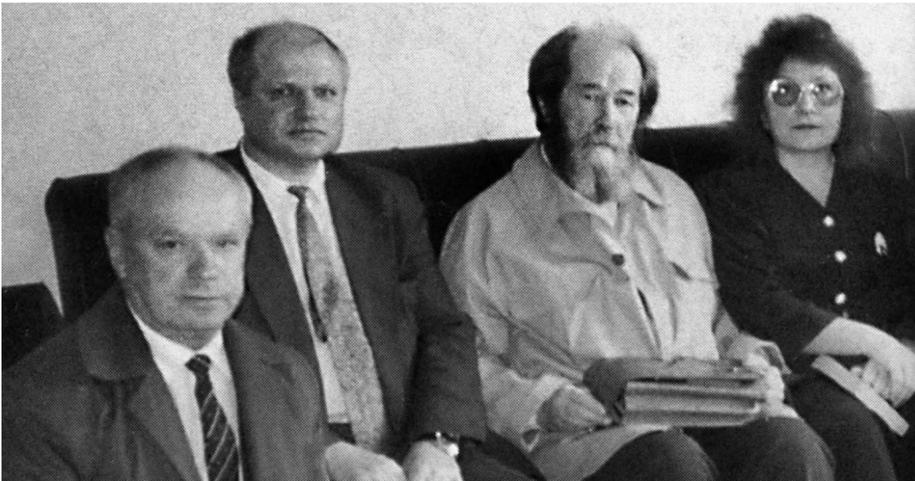
Голоса птиц глухие, хриплые, вода в речке мутная, тяжелая, утки серые, далекие — все блажь, все не нужно.

А внутри все что-то гложет, все не дает покоя, и вдруг какой-то лучик, какой-то звук... Воспоминается ее лицо, узкое, в мелких крапинках веснушек, точные полные руки, длинный стан и ее розовое шелковое платье, обтягивающее всю. И как она говорит: «Люблю, не могу, желанный...»

Вспоминаю, лунь, и все лучится вокруг: речка светлая, прозрачная, голоса птиц хрустальные, деревья высокие, изумрудные, утки-лебеди и я — царевич...

ЛАСКОВЫЙ

Опять наступили прелестные дни: солнце, высокое небо, тяжелая рябь на тяжелой бутылочной воде — и тонкий, голубой туман, таявший от солнца. Пус-



На встрече с Александром Исаевичем Солженицыным. Орёл, 8 мая 1995 года.

той голый берег, черные, как кружева, птицы в лазоревом небе, лазоревая заря — уютельно!

Кто-то жмет собранные листья, едкий сладкий дым от них, от курушек; тепло, горько — осень, глубокая пора... Одинокий крик медленно реющего ястреба, белоснежная стая голубей, мокрые светлые крыши, и бабка Егориха:

— Зачем пришел?
— А-а, бабка, дай выпить...
— Дурень...

ОБИДА

Утро. Роса. Жидкий сиреневый туман. Неподалеку в саду вкочухот, тяжело перелетают сытые дрозды, стоит блаженная тишина — все в поле, на огородах. На скате железной крыши старого дома сидят, хохляты против солнца белоснежные голубы.

На обочине дороги, мокрой, грязной, лежит, дремлет мужик. Небит, волосат, страшно помят, крепкие ноги широко раскинуты. Вдруг просыпается, дико орет:

— А-а, заснули, отгородились... Замученные желтые глаза глядят бессмысленно, исподлобья — лоб широкий, тугий, коричнево-грязный, лицо крупное, но уже старое, пористое, опухшее от пьянства. И опять повалившись вниз лицом в придорожную синеватую грязь, начиняет рыдать...

А сладкий запах росистой травы, цветочный запах свежий воздух, кружит голову. Тишина, пустота, одинокий страшный победный крик ястреба, зависшего над старым садом...

Идет, ковыляет, одна нога короче, сухе другой — в детстве сорвался с дерева. Деревья бедная, послевоенная, долгая... Вкочухот, перелетают дрозды — не подалеку заросли кустов, самовольные посадки берез. Где-то кукует кукушка. А он бредет, оглядывается, вокруг — тишина, ненасытная даль...

— Подайте, — просит он.
И вдруг из окна, большого, заслоненного старыми деревьями, выглядывает

Идут молча. Стираются в глубине сени.

А небо голубеет, а ястреб все орет, о чем-то плачет, а кошки, собаки бегают, летают бабочки, птицы — все Божье чудо, все хорошо!

Я

Пологий желто-серый скользкий берег, ашмовая ряска, спокойная стоячая вода — и я. Сижу, смотрю, улыбаюсь — солнечные блики, легкая рябь, пых-пых — мелькает, бегаёт вниз головой по серому усталому толстому стволу вяза нарядный королек... Радостно! Вдруг всплывает, отряхивается водная старая крыса. Сухие иголки торчком — умылась, огляделась — поплыла дальше.

В далеком синем небе птицы, гомон, близкое треньканье синиц, на руках, пиджаке божьи коровки...

Даль, синева, бутылочная-зеленая речка, вековая блаженная тишь, кроткое, умиротворенное поле, стойкий лай деревенских собак — и я.

Хорошо!.. И молось: «Господи, проди все это: речку, птиц и меня в этой горькой и прекрасной жизни...»

СНЫ

— Ходишь? Все вы лодыри. Бог подаст. Иди — откуда пришел... Нищий застыл, заплакал. Заплакал навзрыд...

Приснилось. Зима, метель. Выюга. В поле ни зги. Охотимся. Гладкое, точно скатерть, поле: выстрел. И вдруг плач: детским голосом орет раненый заяц, уже выбелившийся вросак. Лобастый, с глазами, золотистыми внутри, живыми... И плач такой тонкий, близкий, родной...

Просыпаюсь весь в поту, бессмысленно озираюсь, не нахожу себе места. Не приведи, Господи, таких снов...

Слежу, слежу, падаю — не возвращаюсь. Солнечный ослепительный день, прозрачный ручеек, затхлое болотце, изумрудная тина, лучистый луг... Где я?

— А-аа, лепестки, черноватая дама... — У-уу, вшивый король...

Идем, орем — в горную деревушку. Слыви уже зацвели, лепестки бамбука? Отозвались чьи-то голоса — Япония?

Сон, полянь, ляхорадка... И она? Красивая, темноглазая, нагая, с льющимися волосами по узким твердым плечам...

Какая-то далекая глухая деревня. Старые деревянные засохшие дома. Рядом узкий длинный пруд, весь в изумрудной ряске. Великая тишь, благодать...

Возле крайней избы растут, высятся три березы, и на одной из них грач, тугой, резиновый, орет, что-то пророчит. Угадать бы...

И дали, дали, светлые, туманные, голубые, разные... Кудахтают куры, крякают утки, голосят птички... Голошу и я.

Древняя густая луговина, почти голые рыжие бугры в редкой прозелени трав, заблудшая ленивая речка, увитая низкими лакированными лозинками, и длинное мычание худых потрепанных коров. И летает, летает мотылек, шелковая лиловая бабочка...

Бормочу, бормочу: кто я, зачем я? Сон, разноцветные картинки: лечу, падаю, зеленый луг в золотистых одуванчиках, стройные кони, бокастые желтые коровы. Все мешается, и четко возникают дьявольские рожи... Ору и просыпаюсь.

Раннее тусклое утро. За высокими окнами какой-то неясный шум, резкий скреб лопаты — дворничиха убирает тротуары. Зима, ледяной воздух — в открытую форточку. Ежусь, соплю, тяжело разлепляю веки и пытаюсь вспомнить сон: летний, сладостный, страшный... и никак не могу вспомнить.

Что за Божье наказание — эти сны...

Иван Алексеевич с супругой Аллой Михайловной.

мородоворот: лицо, что кирпич, красное, надбровья толстые, первобытные, рот как у лягушки, гундит: